



В. В. РОЗАНОВ

Еще о вечной теме

Д. С. Мережковский в газете «Свободные мысли» и г. Свенцицкий в «Живой жизни» нападают на меня, — не скажу с гневом, но с большою мукою сердца, — за мои приблизительно отрицательные мысли, — или, точнее «не интересующиеся» мысли касательно судьбы нашей за гробом¹.

На ту же тему (судя по ссылкам Мережковского) писали и другие. Но меня в особенности тронули частные письма, с теплыми, милыми укорами, получаемые в значительном числе и отсюда, и из-за границы.

Так хотелось бы их всех благодарить за участие, пожать руки как братьям, и Свенцицкому, и Мережковскому...

Но что же мне делать, если я не то что не верую, а в самом деле не интересуюсь, что будет «там?» Конечно, теперь я могу быть в иллюзии, потому что здоров. Имея в виду теперешнее состояние, опираясь на него только — конечно, я не вправе был бы писать того, что писал. Но лет восемь назад, вследствие чего-то съеденного, у меня произошло, как объяснял проф. В. Н. Соротинин потом — «отравление головного мозга птомаинами»², и я впал в обморок, — причем врач, следивший за пульсом, говорил, что не мог его прощупать, т. е. что сердце почти остановилось. В безмерной слабости я, однако, думал. Думал, что вот — умираю.

Я был не дома. В это время я только думал о том, как будут испуганы мои домашние, когда меня принесут мертвым домой. И мне было очень печально за них. Также я беспокоился о том, что будет с ними потом, без меня, с одними. Что им будет тяжело и трудно существовать, — это меня очень томило.

Было вообще печально, «нехорошо».

Боли я не чувствовал, была только слабость, — ужасная, неопикуемая! Мысли были не затемнены, не спутаны. Текли тихо и не вяло.

У меня не было никакого беспокойства о душе своей. Ни малейшей тревоги о «там». Ни о «суде», ни о «награде» я не думал; ни — хотел их, ни — не хотел. Ничего.

Верил ли я тогда в Бога и теперь верю ли? Об этом надо условиться. Когда я размышляю о Боге, пишу о Нем и (как кажется) чувствую Его — мне тепло, хорошо, уютно. Все «по мне» и «собой доволен». Таким образом, «религиозная идея» есть какая-то «естественная для меня идея», при которой я как бы «закругляюсь», становлюсь «полным», мне нечего желать, меня ничто не мучит, я сыт. А когда очень уходишь «в суету» и «мирское» — то становится скучно. Впрочем, оговорюсь: размышления или слова о «мирском» и «суете», у меня по крайней мере, неотделимы от постоянного как бы вездеприсутствия Божия в этих самых мелочах, в самой этой «суете», и я особенно люблю маленькие житейские дела, ибо общение с ними и участие в них есть моя постоянная религия, и от этого я так «сыт» на маленьких делах и чувствую себя в совершенной гармонии, когда нахожусь в гармонии с ними. «Безбожная суета» для меня наступает, когда я сержусь, соперничаю с кем-нибудь или когда желал бы славы и проч. Но Бог дал мне спокойствие, и я этим не томлюсь: кроме редчайших случаев, когда я чувствую себя несчастным, безбожным, как бы болеющим.

Если такое постоянное и общее самочувствие и самосознание есть «религия», то я религиозен. Но если этого мало и под «религиозностью» понимается что-то конвульсивное, какая-то судорога души, взывания, вопли, слезы, тоска, отчаяние, невыразимые умиления — то во мне этого нет; но, мне кажется, эти состояния суть более психиатрические, чем религиозные: и «Бог» в них, очень может быть, является только «навязчивою идеею» и проч., а не Тем, Кого мы видим и знаем спокойным и простым сознанием, спокойною и простою душою.

Я отношусь к Богу спокойною и простою душою, и вот ею я Его люблю, что и без Него не мог бы жить. Если этого мало — у меня больше нет. Но мне это достаточно.

Я позволяю себе сказать все это или исповедоваться во всем этом, потому что, судя по письмам и печатным статьям, множество людей чрезвычайно этим тревожатся, этим озабочены; озабочены этим «общим вопросом», как чем-то «своим», личным и дорогим.

В частных письмах все это сказалось прекрасно и не утилитарно. Видно, что идея «бессмертия души» и «Бога» важна сама по себе, драгоценна и возлюбленна сама по себе, без «прикладных последствий»... Я с прискорбием читаю и у Свенциц-

кого, и у Мережковского строки о какой-то, если можно выразиться, «прикладной религии». Впрочем, «прикладную религию» уже был озабочен Достоевский. Достоевский, Мережковский, Свенцицкий, — все они говорят: что же будет на земле, в людских отношениях, если люди утратят великую идею загробного существования?

Ощупываю себя, сознаю все свое прошлое и отвечаю: да ничего не будет.

Чем я стал, какие я злодеяния совершил, утратив «великую идею»? Да никаких особенных и чрезвычайных. Был не очень хорош «при идее» и после нее не стал нисколько хуже. Это я отчетливо знаю тем внутренним, молчаливым сознанием, которое не обманывает, не лукавит.

Но все люди — как я: отчего же они станут хуже, на случай потерянной «идеи»? Не понимаю. Нет доказательств.

Мережковский говорит, что тогда придут «мистические хулиганы» и настанет пора всеобщего одичания, зверства, аморальности. То же повторяет Свенцицкий: «Откуда тогда будет жалость к людям? Тогда врач, чем заботиться о спасении новорожденного, или о помощи роженице, — сядет на лихача и прогуляет лишний рубль». — «Без Бога, — говорит Ракитину устами Мити Карамазова Достоевский, — ты, подлец, набьешь на говядину цену в лишний гривенник и купишь себе на прибыль каменный дом».

Как известно, под Ракитиным Достоевский вывел известного Елисеева, одного из редакторов «Отечественных записок». Этот Ракитин-Елисеев никакого дома себе не нажил, был, правда, «материалист-атеист», но чрезвычайно великодушный человек, умевший прощать обиды, и иногда, как мне рассказывали, — обиды и «прискорбия» чрезвычайные... А главное, он о Федоре Михайловиче никакой обиды не сказал: а Федор Михайлович какую о нем сатиру написал!?³

Наконец, вот теперь мы живем при повышенных ценах на говядину: ее набили именно «верущие в загробную жизнь» мясники-торговцы.

«Веровавшие в загробную жизнь» сидели вокруг костров, когда на них горел человек, горел Сервет в Женеве, Савонарола во Флоренции, и сколько, сколько в Испании, в Германии! Все кричали:

— Больно! Жжет! Развяжите веревки! Дайте водицы!

«Веровавшие в загробную жизнь» молчали и не трогались.

— Именем Бога! Именем вечных мук, вечной награды — спасите нас!

Те молчали.

Так о чем же мы будем говорить с Дмитрием Сергеевичем, с Федором Михайловичем и со Свенцицким? Темы наши вчера доказаны, и нужно истинно «мистическое хулиганство», чтобы перерешать их сегодня на гробах Гуса, Савонаролы, Сервета... Сперва воскресите тех, и вот тогда я и воскликну с вами: «Осанна сыну Давидову», и все прочее «по Требнику»⁴, и уж прибавлю: «вечная жизнь здесь и там, вечная и блаженная». А пока я все вижу и слышу вокруг «со святыми упокой» и обещания чего-то и кому-то «на завтра»...

— Придут хулиганы!..

Но я говорю, что они были.

— Придут без веры в загробную жизнь!..

Но я указываю, что именно творчески, т. е. с бесконечною верою, разрисовали «будущую жизнь» те самые люди, которые видели страдание человеческое, вот сейчас, перед главами, осязательно, ослепительно: и хоть могли бы, но ничего не захотели сделать, чтобы его погасить!

Не произнесли даже слова, не то чтобы дать работы, потрудиться...

В заключение к пожелательным, или, лучше сказать, «нежелательным» своим мыслям мне хочется прибавить одно чисто теоретическое соображение. Да загробная жизнь, так цветисто разрисовавшаяся в монастырях христианских, и вообще так колоссально начавшая расти с началом новой эры, девственно-аскетической, не есть ли иллюзорное перенесение «туда» тех естественных возможностей и ожиданий, какие обычно осуществляются и должны осуществляться здесь, на земле? В Библии — молчание о «жизни будущего века». Но Библия — вся в рождениях, там все и постоянно рождают. Как только это «закрылось» и проведена была религиозная черта поверх рождений, так сказать закупорившая их, так воображение, мечта, сердце и потянулись «туда». «Там» будет вечная жизнь, «там» мы насладимся сладостью, нас там окружают ангельские лики, которые ведь суть — по живописи и представлению — какие-то новорожденные иди недавно рожденные младенцы.

Все «там»...

Но это оттого, что здесь нечестиво (как я думаю) отказались от рождения живых, настоящих, «как следует» детей.

Самое появление и рост монастырей и монашества, может быть, здесь имеет глубочайшее объяснение: «стесним все здесь, откажемся от всего здесь — и начнем расти туда»... Выше стена монастыря, стена вокруг меня: и шире развигаются «райские

видения». Так розы вырастают на могиле... Земля — могила; в небе — розы. Нет, хуже: чем земля могильнее, тем розовее небо... Но, Боже: как же быть при этом представлении, как могло и имело силы человечество жить при бесспорной мысли, овладевшей им или ему навязанной, что «человек живет на земле для того только, чтобы умереть» (Лиза Калитина)⁵, что самое его появление на землю есть что-то случайное, не самоценное, почти не нужное и «грешное». Уже монах Владимир Соловьев, в начале «Критики отвлеченных начал», цитировал безбожно:

Кто б ни был ты в сем мире,
Есть нечто лучшее — не жить!

О чем говорили, или, лучше сказать, «стенали» и все монашесствующие тысячу лет. Переборая это, — чуть-чуть, еле-еле тянулась жизнь. В Греции, на протяжении 500 лет, сколько было сотворено! А на Волге, во всем приволжском бассейне тысячу лет тянулось одно «прозябание»; «жили-были», ни себе, ни другим не на радость. Ведь есть мысли радующие и ростящие, и есть мысли печальные и заглушающие. Ужасно, когда в самые аксиомы жизни входит такое заглушение; когда это становится народно, пословицей... Когда это «бежит по улице» и «знает каждая бабушка». Но «роза на небе», связанная с «могилой здесь», есть именно такая народная и убивающая идея. Как я сказал, — ее родник монастырь; или и обратно: самый монастырь родился для ее культа. Тут взаимно работалось: факт над идеею и идея над фактом. Все это я не умею лучше объяснить, как сравнив с тем, что однажды удивленно рассматривал в детстве. Это — беленькая, тоненькая, чахлая малинка-прутышек, выросшая у нас в саду, в бане, куда случайно занесло зернышко. Какая она была жалкая, несчастная! Тянулась к окошку из темного уголка своего, но как бессильно! Не принесет она, бедная, плода; не сорвут его дети, не порадуются ему. А живет, есть жизнь! Как трагично, — если подумать с точки зрения мировой метафизики. «Кто за эту малинку Богу ответит?» Вот с этим случайным и ошибочным заносом семени, откуда простекло несчастье и чужая чахотка, — только я и умею сравнить роль в мире и внутреннюю собственную сущность идеи, простекшей из «нерождения здесь» и заключающейся в уверенности, что будем жить «там»...

